



Памяти Грегори Лемаршалья

Не плачь о том, чей голос был рекой,
ручьем альпийским, брошенным строкой
нерукотворной лирики в долину
с одной из ослепительных вершин.
Он врачевал, тревожил, ворожил,
смягчал сердца и мял их словно глину.

И он же обращался в океан,
в бунт волн, что омертвелости не терпят,
взмывавших до небес, внушавших трепет.
С каким Крестом в довесок был он дан,
вот этот голос, бравший за живое,
мальчишке из пастушеской Савойи?

С каким?.. Не с тем ли, росшим изнутри,
что убивал, подтачивая тело?
Тьмы шепоток подначивал: умри,
не бейся с вопрем смерти оголтелым.
То Шахматы Господние, подвох?..
Молчит, молчит непостижимый Бог.

Мальчишка этот был тебе как брат.
Он радости твоей был трижды рад.
Он в каждой ноте длившимся мгновеньем
жил, как последним. Он светился весь
в распахнутом наружу естестве,
да так, что ты немел в ошеломленье.

И прежний опыт выбросив, как хлам,
ты сызнава, забыв азы и числа,
у этого мальчишки жить учился.
Ты, весь свой век скользивший по верхам,

блуждавший в непролазных дебрях века —
свет различил, почувял человека.

Не плачь о том, кто биться, бунтовать
и бражничать никак не мог вполсилы.
Все кануло... и даже ветер вспять
не воротить, но у родной могилы
нет, нет, не плачь, подпитывая тьму,
а улыбайся брату своему.



Долгое шествие в призрачный твой Вифлеем —
сон, сумасшествие... Небом неведомым, топким
бредишь, болеешь, спасаешься, длишься. Но только
музыка что-то неслышною стала совсем.
Только вот сумерки. В чьем-то ослепшем окне —
лампочка тусклая. Кажется, жизнь выгорает,
теплится чуть на пороге кромешного рая.
Что-то подобное, помнится, тлело во мне...
Тихое шествие к вести, которой не ждешь,
к вести, что вдруг ощущаешь на кончиках пальцев,
если в них стебель душистой травы разомнешь,
и обомлеешь, захочешь побыть постояльцем
в этой весне, чьи усталые звуки глухи,
в этом дворе, где чуть пенится жизнь в черных лужах.
Жизнь — это химия. В зарослях серой ольхи
чахнет скворец, наглотавшийся ветра и стужи.
Зов его утренний больше походит на крик —
скорбный, простуженный, непоправимо прощальный...
Что же теперь мы на музыку так обнищали?
Вся и надежда на темный, невнятный язык
вести неожиданной, все длящей дорогу вперед,
все не дарующей трезвости строгой рассудку.
Жизнь — это все же алхимия, магия, дудка
змей заклинателя, что еле слышно поет...



И кто-то почувствовал — это в дверях бог.
Он выдохнул небо — ах, как запахло зимой
и крымским крепленным! Он хочет застать врасплох
женщину и младенца — себя, себя самого.
Бог долго звенит ключами от всех замков
и тайн мироздания — от всяческих мелочей,
еще от почтового ящика — он таков,
никогда не находит гвоздика для ключей.

У него в кармане заначка — пригоршня звезд,
папирасы с туманом, какая-то сумма в рэ,
нездешняя музыка... Бог, видно, слишком прост —
безделушки в кармане сползают к дыре, к дыре.
Но когда, отдышавшись и сбросив пальто на пол,
он все же решит обнаружить себя здесь, то,
смутившись, вдруг скажет: вот черт, не туда пришел.
И навсегда растает, забыв пальто...



Здесь праздник все же был, но вышел вон
не признанный никем — мир то и дело
бряцал в кимвалы с верой оголтелой,
и самозванцев чествовал... а он,
не требуя ни власти, ни хвалы,
присаживался в сквере на скамейку
к чудным волхвам в ушанках из цигейки.
Но, будучи с похмелья, и волхвы
его не признавали. Наугад
он дальше брел, он обращался снегом
и воздухом, насвистывал на беглом
синичьем языке, пока ягнят
своих молчащих, свой елейный хлеб
мир пожирал под медный гул кимвала.
И утро все никак не наставало,
и тьма ползла в пустующий вертеп.

За вещьностью, за тонкой пленкой сфер,
в тех ойкуменах, что за гранью зренья,
мешая запах снега и сирени,
все ворожил усталый парфюмер
над колбами времен. Но, видно, дух,
им сотворенный, выветрился где-то.
Ни тишины, ни праздника, ни света,
одни слова, что вновь бормочешь вслух.
Но здесь, в столпотворенье голосов,
не вспомнит даже колокол набатный
все без вести пропавшие когда-то
потешные полки озябших слов.
А тьма ползла, и так из века в век.
Но ветер треплет белые страницы,
и спящему младенцу в яслях снится
снег, пахнувший сиренью, тихий снег.

Летейское

Так и живешь. Бог знает, чем живешь —
своей тщетой, своим насущным вздором,
все более горячим, разговорным
наречьем ветра. Призрачный чертеж
читаешь на воде — круги, круги,
и чувствуешь, как спуртом водомерки
сотрясена вселенная, как меркнет
качнувшееся солнце у реки.
Замрешь и дышишь хлынувшим в лицо,
пыльцу в себя вбирающим потоком,
вновь попадаешь в памятьливом, топком,
кромешном небе. Временным жильцом,
вселённым во вселенную, взახлеб
и вскользь живешь, вкушая свет с горчинкой,
чтоб кануть безымянную песчинкой
в летейский ил. Откуда же озноб
несбыточного счастья в позвонках —
внезапный, нестерпимый? Нет ответа.
Живешь, заговоренный речью ветра
на терпких тарабарских языках
и всем перекликающимся с ней,
подробным, поименным, благодарным
звучаньем сфер, их шелестом гончарным.
Круги, круги... Все глубже и ясней,
все пристальней пытливый небосвод.
И шепчет ветер: время торопиться.
Но жизнь еще мерещится, и птица
еще летит над мглой летейских вод.

vremechko. net

Затрапезная осень, промозглая тмутаракань —
лишь роптанье ветров да простуженный лай кабысдохов
тормошат тишину, и выходишь куда-то за грань
оголтелой эпохи. А, впрочем, при чем тут эпоха
гуттаперчевых цезарей, спешно доящих свой рим,
и румяных мессий, расторопно торгующих словом?
Время — жадный зверек, что грызет и грызет изнутри
стебель жизни твоей, убывающей так бестолково.
Время — нечто в тебе, а не что-то и где-то еще.
Одурачишь зверька, и мгновенье все длится и длится.
Даже сумрачный хронос, дотошно ведущий свой счет,
не исчислит его... И летит уже белой латиницей
нескончаемый снег, летописец и вестник зимы,
заполняя собой пустоту между горним и дольным,

между словом и словом. Из толщи небесной, из тьмы снег свободно летит, и, едва прикоснувшись к ладоням, истлевает за миг, и ты чуешь, безбожник, по ком сельский колокол бьет, расщепляя в тоске безрассудной это vremechko.net и ego pokolenie.com на отдельные судьбы.

Стойкий оловянный солдатик

И все же нужно дальше как-то жить,
преследовать в себе левиафана.
На том стоит солдатик оловянный,
что стойкостью своею дорожит.
Январь прошел не без перипетий —
рвал и метал — взъерошенный прохожий.
Ты с ним сроднен и речью непогожей,
и нравом, и неведением пути.
Оглянешься, солдатик, стает век,
еще быстрее мелькнет тысячелетье.
Но, видимо, монтекки с капuletти
бессмертны. Значит, недочеловек,
сидящий в человеке, нерушим,
и он войной насытиться не может.
Какая там внутри него таможня
дает добро: юродствуй и греши?
Какая ископаемая тьма
прикармливает в нем гремучий улей
химер, ползучих гадов и горгулий?
Чума на оба дома. Вновь — чума.
Роятся тени в зеркале кривом,
несть счета искаженьям в мире брэнном.
И все же надо выжить непременно.
Ты только стой, солдатик, на своем,
ты только не сдавайся, брат, держись
под каждым новым точечным ударом.
Объявлена пирушка Валтасаром.
Но надо жить. Отважиться на жизнь.



Каждому по его оголтелой вере.
Видишь, волнуется море. По счету три
выпустили дракона на волю, зверя.
Левиафан очнулся. Замри, смотри:
ненависть пожирает все, что покуда дышит —

дерево, птицу, память, родную речь,
суржик певучий, картаво-гортанный идиш.
Эй, Молдаванка, почему нынче тут картечь?

Ненависть выпивает свет в голосах и лицах,
лакомится стыдом. Это редкое блюдо, но
брат мой сгорает, и небо Аустерлица
над Куликовым полем ему видно,
там, где уже на костях замутили пляски
пастыри бесноватых, и об угли
жгут свои пятки свирепые их подпаски —
джунглей фейсбуковых новые маугли.

Каждому по его сумасшедшей вере.
Чем бы себя ни тешил теперь дракон,
Бог в человеке — главная пища Зверя.
Так уж оно устроено испокон.

Снег пасхальный

Снег пасхальный — блажь, обмолвка,
время, сбитое в строфе?
Улыбается неловкий
часовщик стихов и сфер.
Что-то в музыке качнулось,
смолкло, вспять пошло, и вот
утомленной дельтой улиц
снег медлительный плывет.
И чем больше — дольше — дальше,
тем все ближе, все ясней
шепоток окрест легчайший
покачавшихся ветвей.
Все слышней и безупречней
сердцевинный непокой
в расторопном просторечье
слободских дворов, в скупой,
кем-то выверенной правде
колокольных голосов.
Часовщик стихов не правит,
замер маятник часов.
И все бредит, не стихая,
чуткий колокол — по ком?
Сыплет, сыплет снег пасхальный —
только снег да снег кругом...



Обученье осенним, чужим до поры языкам,
что казались бессвязней любой тарабарщины темной,
начинаешь с азов. И, доверившись их знатокам —
облетающим скверам, все слушаешь, как неумно
словарем тишины шелестит безымянный Лингвист,
утверждая, что жизнь с этой поздней внезапной науки
начинается сызнова, падает яблоком в руки
и горит на ладони, как ветром оброненный лист.

Вот тогда и не сможешь с неясной тоской совладать.
Домовитая тьма завладеет тропой и скворешней.
И почувствуешь блажь проговаривать осень неспешно,
принимать все, как есть, повторяя усердно слова,
что почти нараспев местечковым бубнит мудрецом
растрепавшийся вяз. И лукавая присказка длится.
И поймешь, наконец, что всю жизнь посторонним лицом
был себе самому и любил посторонние лица.



Спит человек, и кажется, что во сне
плоть его — плот, несомый водой, и даже
утлый корабль, плывущий без экипажа.
Сам человек обратился в небесный снег.
Сам человек претворился в древесный скрип
латаных половиц и воловьих яслей,
в дым и пыльцу, проникающую сквозь прясла
всяких оград — то под своды укромных крипт,
вглубь потаенного, то за незримый край
рамы, строки, небосклона, где слишком тесно.
Зренье его безглазо и бестелесно.
Он уже видит свой перевертыш-рай.

Он умолчанье, и он же прямая речь,
ил немоты и бурлящая пена чата,
в нем голоса — беспокойные арапчата,
сукины дети, а значит — стихия, смерч.
Он и мартышка безумства, и сытый лев
здорового смысла. Он умер и вновь воссоздан.
Все это вечность, и все это — воздух, воздух.
Все это правда, и все это фокус, блеф.

Спит человек и не чует себя во сне.
Снег все кружит, завихряется оголтело.
Собственно душой обладает тело,
собственно душой обладает снег.

Легчайшая промышленность природы

Чье ткачество? Какого челнока
снованье так смущает сумасброда?
Щербатый воздух, щебет, облака...
Легчайшая промышленность природы
плодит, шутя, безделицы свои.
Ты слышишь, как в нездешней эйфории,
ополоумев, свищут соловьи
в цехах ее небесной индустрии?
Не все ль едино — полумесяц, крест,
для времени и ветра, что кругами
летят, стремглав? Неведомый оркестр
играет жизнь — за кругом круг, по гамме.
Что там за дирижер и что за ткач
стоят за этим промыслом воздушным?
«Встречай он здесь повсюду тчк» —
вдруг застрекочет сумасброду в уши
тревожный телеграф оживших трав.
Ты вслушайся — замрет, взорвется снова.
И может, этот вечный телеграф
однажды и твое запомнит слово.



...И тогда померещится жизнь, но уже
это будет иной инфантерии лагерь —
без исчисливших альфы с омегами алгебр
и бессонных себе самому сторожей.
Это будет иной — невозвратный — поход
по щербатой брусчатке очнувшихся улиц,
где бредут пехотинцы, от ветра сутулясь,
будто бредя об участии прежних пехот —
безымянных, безвестно пропавших. И там
им глухая зима, занимаясь настройкой
всех своих духовых, оглашающих сроки,
прерывающих смутных времен тарарам,
обещает сыграть, наконец, тишину.
Там, конечно, иная война приключится.
И почувствуешь холод колючий в ключицах.
И нельзя проиграть будет эту войну,
как нельзя победить в ней, добравшись до дна
тишины, неизвестной тоски, снегопада
и внезапного бога... нельзя и не надо.
И мерещатся — бог, снегопад, тишина...

Исход

Не успеет петух в пустоту прокричать под утро...
Только ты не помнишь, когда это все случится —
то ли будет война подлый путь свой торить по трупам,
то ли будет весна потакать оголтелым птицам,
или снег снизойдет, как приходят по чью-то душу.
Нет, не вспыхнут слова на стене приговором свыше
посреди кутежа, не порвет в доскуты загишье
обезумевший колокол — гулкий, надсадный, ушлый.
Даже пес во дворе не зайдется истошным воем.
Ты всего лишь почувешь, что трижды успел отречься
от всего, что тобой лелеялось, как святое,
от подобия бога, от веры своей скворечьей.

Не успеет петух... что ж, вполне заурядный случай.
Может, это и к лучшему. Что за потеря, право? —
птичья вера какая-то, лепет чудной про травы,
муравьев и сверчков, водомерок и рыб летучих,
про родство с тишиной, населенной, хотя и зыбкой,
ну и прочую чушь. В общем, даже не вера — ересь.
Но ты чувствуешь исход — все сверчки захлебнули скрипки,
и к чужим берегам чудо-рыбы летят на нерест.
И насколько хватает глаз в бесконечном поле,
в небеса уходящем, к воздушным вратам ковчега —
золотая пыльца. Эмиграция человека
из себя самого происходит почти без боли,
порождая чудовищ. Ты знаешь об этом, ерник.
Человек — это дом, но твоих домочадцев детства
не останется вовсе, лишь старый запойный Йорик,
обезьянкой шарманщика будет в тебе вертеться.

Кто ты нынче и что ты — рыбак без сетей и лодки,
полководец без армии, или отец без сына,
или просто блаженный без Господа? Все едино.
Не успеет петух вырвать крик из луженой глотки...

Стансы к августу

Привязываюсь к жизни все сильнее,
все сумасбродней, все непоправимей.
Блаженный август что-нибудь соври мне
о сне легчайшем в миг прощанья с ней.
Хлеб тишины насущной все черствею,
и сумерки теснее в топком танце.
И все темнее лиственные стансы
в прерывистом дыхании ветвей.

И что с того? — хоть сколь-нибудь соври.
Цветет болиголов, пьянит цикута —
веди к ним, август, пастырь мой, покуда
ольшаники поют и пустыри.
Как зыбок под ногами шар земной,
где прах времен пророс травю сорной,
где с каждым вдохом вязкие просторы
все легче спутать с близкой западней.

И допоздна исчезнув в толчее
пожизненного душного шанхая
своих сомнений, правду выдыхаешь:
не оправдаться — нечем и ничем.
И тут же правишь: значит, ни к чему —
чем ближе Бог, тем неисповедимей
пути и правды. Легион — им имя.
Их русла наполняют Леты тьму.

И августу по темным руслам трав
вот так же течь и становиться гуще,
пока он имя, запахи и сущность
не исчерпает, в осени пропав,
и все-таки себя продолжив в ней.
И осень так сама впадает в зиму.
Так близишься к своей неумолимой,
незыблемой последней тишине...

